**СВЯЗАТЬ СОБОЮ ВСЁ И ВСЯ**

**О поэзии Евгения Чигрина**

**1**

Волшебство создания поэтического, трансцендентного мира: сию минуту, тут же, на глазах, многопластово дышащего, непонятно как движущегося мира. Да, вселенная Евгения Чигрина – в движении. Краски играют, вспыхивают и гаснут. Они на миг становятся словом – обвалом, карнавалом, вереницей пляшущих звуков-знаков! – для того, чтобы мы могли их услышать, поймать, посмаковать... нет! улетают, ведь они голуби!.. а может, радужные гордые павлины, и крылья их сверкают лазуритом и изумрудом, как у птицы Гаруды; они летят в чистых небесах поэзии, непойманные, никогда не изловленные слова, свободные, уникальные, захочешь повторить, а в небесах лишь инверсионный след... лишь белая пена прибоя – там, далеко, на гогеновском Гаити, на святой Елене несчастного владыки полумира Наполеона. Время летящее! Разве его можно окольцевать словом? Очертить вокруг него алые страшные флажки волчьей охоты? Никогда! Ни разорвать его нельзя, ни сшить; голое, как те же Гогеновы таитянки, оно смешливо выскальзывает из человечьих рук и, продолжая смеяться, раскидывает над человеком, одиноким или молча стоящим в толпе, в соборе, в хоре, незримый легчайший купол. Летит ковер-самолет времени, уносит на себе нового Ивана-царевича – куда? в Беловодье? в легендарную жемчужную Шамбалу? Кто посмеет взять в руки кисть и вслед за временем, за его каждодневным, в зените, автопортретом смело намалевать его, вечно идущее-бредущее мимо – то попрошайку, то царя, то плачущего одинокими слезами странника... но все это было уже вчера, а сегодня реактивный самолет, не ковер, утюжит небо, уносит поэта в дальние страны, – и вот она, за облаками, новая железная, суровая кисть! Где же старая школа? Где старая живопись? Где злато и перлы Рембрандта, запретное обручальное кольцо на бедняцком шнурочке на смуглой шее служанки Хендрикье? Где ты, время... сиди в этом кресле, не уходи, мы же все пишем, я же пишу тебя... с натуры...

А где художник? А он немного задремал. Прикрыл глаза рукой.

За смыслом выйду словно бы за повестью души,

Не ждите росчерков поэм, мои карандаши,

Не ждите чуда, ноутбук и марсианский брат,

Смеются девы невпопад, и допотопный ад

Включает бодрый патефон, в котором мертвецы

Играют свинг напополам с потомком Лао-цзы:

Бренчит рояль, гудит вовсю весёлый контрабас,

Какой-то искренний поэт поёт весь этот джаз!

И льётся музыка вокруг, и просветляет тьма...

За смыслом выскользнул за дверь – потёмки и зима...

И бледнолицый серафим, простывший от тоски,

На волчьих лапах – почему? Кому-то вопреки?

Луны кишмишевый окрас, единорог в цвету,

Душа, спешащая поймать удачу на лету,

И что-то там... за ВВС и – космосом и Ко...

Спаситель с бедным фонарём? Застава? Никого?

...Пишу тебе из темноты, из местности NN –

В который раз? В который снег? В который Карфаген?

Я должен сделать что? Забыл. Звонок бы другу, но –

Давно мертвец, а патефон – некрепкое звено.

Как здесь точно и свободно обозначена связь всего со всем! «Не ждите чуда», говорит поэт, но ведь само рождение такого стихотворения – уже чудо: «допотопный ад» вызывает к жизни полузабытый патефон, и под умершую джазовую музыку танцуют мертвецы и умирают в фантастическом танце живые. Вечный поиск смысла, и поэт выскальзывает за ним, таинственным, за дверь, а там «потемки и зима»: зима здесь мегаобраз, она, как и ад, архетипична, она для северного художника – и оковы алмазного Космоса, и родная (постылая!) тюрьма. Все репризно, все повторяется – «В который раз? В который снег? В который Карфаген?» – и то, что стилистика поэта неповторима, не похожа ни на кого и ни на что из сокровищницы русской поэзии, заставляет задуматься над уровнем свободы тех, кто вырвался в открытый Космос из бесконечности реприз.

Поэт Евгений Чигрин живет в России. В Москве. Но он – это бесспорно – путешественник души. Странник по цветному, горячему и трагическому миру, по драматическим лабиринтам живых и асфоделевым полям мертвых: странник в духе. Странник по звездам! Помните роман Джека Лондона?.. И видение Чигриным мира – и видение его – миром! – это подлинный жаркий брак, настоящая любовь: стихи – павлиний хвост чужеземных гор и морей, древний, как Афродита, морской прибой, прибой русской трагической метели, копья солнечных лучей всеобъемлющей мысли, насквозь пронзающие кирпичную кладку запретов и табу, живые зрачки, заливающие золотым молоком лист бумаги, на котором – сургучом крови – самое тайное: выстраданное. Это страдание немедленно обращается в радость, вполне по-бетховенски, по-вердиевски, по-моцартовски, перетекает в чистейшую вязь струнного итальянского барокко:

Сплошная сарабанда от Маре:

Бемольный свет, прикосновенье пауз...

За окнами в тончайшей полумгле

Бездомье снега и рекой арт-хауз

Тех призраков, которые везде...

Я вижу их так явственно, что слово –

То зависает в лучшей пустоте,

То говорит над рюмочкой спиртного.

Вздыхает бархатистый инструмент:

Живёт смычок над формой грушевидной,

Кругом шмелиный слышится акцент,

Лишь музыканта галльского не видно.

Я переводчик музыки в слова,

Мне парадиз доверился недаром:

Строфа к строфе. Строфа к строфе. Строфа,

Которая космическим астралам

Доносит эту музыку, словарь

Того, кто смотрит в золотые книги,

Витьё барокко, каждую деталь

И февраля метели и задвиги.

И сарабанда гамбами цветёт,

Равно пион в хрустальном обрамленье,

Марен Маре по музыке идёт,

Бемольный рай подыгрывает тени,

Верней – теням... Живым и мёртвым... Я –

Смотрю, как тень перетекла в Мелету.

И мотылёк словесного витья

По Хлебникову крылышкует к свету.

Здесь ясно видно и слышно, как свободно владеет Евгений Чигрин переходом от музыки в поэзию и обратно: не понять, где проходят контрастные стыки и пролегают золотые легчайшие швы; ткань стиха трепещет и звучит, бьется чуть слышным пульсом, который одновременно и ритмика, и отзвук близкой, сопредельной жизни: поэту, «переводчику музыки в слова», парадиз, священный Рай, «доверился недаром».

**2**

Чигрину всегда мало пространства строфы и плоскости листа. Он сам – океан. Ему потребна планета, чтобы в ее каменной чаше плескаться: негодовать, вопить, смеяться, обниматься, обжигаться страстью и просветляться молитвой. И опьяняться магией, мистикой запредельного, трансцендентного: сна, зеркала, яви и нави, Креста и Рая, граничащего с Капричос Ада и светлейших, звездных горизонтов неведомых Ангельских далей.

А ведь Рай и Ад – это не только Дантовы мифологемы; это земля и небо. Это любовь и ненависть. Это в результате основные архетипы бытия, жизнь и смерть, – и у поэта достает мужества, мистического, глубинного понимания и неубиваемой любви сопрягать, сшивать их, менять местами, проживать вместе, единовременно:

Жизнь, как смерть, хороша,

потому что и смерть – это жизнь,

Чёрной птицей апокриф

над сонной речушкой взметнулся,

Старый куст на библейском

другому кусту: «поклонись» –

Прошептал почему? Почему старый ветер проснулся?

Жизнь, как смерть, – хороша,

потому что и смерть – это жизнь,

Это хор мёртвых душ

над стигийским горланит недаром!

Ветер крутит кольцо: то стихает, то трогает высь,

Поправляет листву и глядит индивидом усталым.

Чигрин космичен. Он русский космист в поэзии. Диапазон его поэтического действия необъятен. От свободного буйства факелом подхваченного импрессионизма – до Босховской символики, внезапно обращающейся в живой коровий мык, в дрожь живой забытой струны. От пылающих пляжей сновидческой экзотики – до пугающего скорбью ночного мрачного реализма, нашего-родного: этот желтый фонарь видал Достоевский, а эту злую песцовую пургу – Андрей Белый. Призраки-тени и живые люди, похороненные в памяти имена и приметы и почти трехмерная подлинность и кровавая правда – это все тоже Чигрин, и разве это стихи, записанные буквами-словами? Это сам трепещущий крыльями гигантской тропической бабочки, живописнейший, опаляющий красками и звуками мир, вмещенный не в коллекционерскую коробку, не в шкатулку энтомолога – в сердце поэта. И отнюдь не трещина прошла через это сердце, по-гейневски. Ничто не разъялось, не разорвалось, не развалилось! Евгений Чигрин все, что можно (и даже нельзя!), собою срастил. Понял, принял, возлюбил. И возненавидя – возлюбил.

Что самое ценное – поэт соединяет не только вещность, не только явления возлюбленного предметного, трехмерного мира, но и времена. И – имена...

...Раскалённый мажется закат

На «Куполь», где пили

Мастера. И мне тут выпал фарт:

Раз-два-три-четыре.

На бликфанге уличном лежит

Темнота-прохлада.

Крутится окрест французский хит,

Лёгкий, точно вата.

Я б твой профиль приколол к луне,

Забирай, богиня!

Пьяный в дым корабль плывёт во мне,

На бакборте имя

Вышито туманами: Рембо!

У пустой бутылки

Прочитать всего тебя – слабо,

Не хватает жилки.

В пропасть монпарнасскую смеюсь,

Музыкой проникся.

В райских кущах скоро окажусь...

Или в водах Стикса?

Это гулянье по вечному, как поэзия, Парижу – само по себе уже приобщение к сонму тех, кто здесь, на Монмартре, Холме Мучеников, мучился и праздновал, влюблялся и умирал. Поэт легко и красиво вписывает себя в эту многолюдную фреску, и его фигура не только не теряется в вековом многолюдье, но приковывает внимание. Чигрин сам русским ангелом, пьяным (от счастья!) кораблем летит над временами, над Парижем, его сакральностью и культурной неуничтожимостью. Эти стихи горят самоцветом в храмовой, нотрдамовой тьме веков.

Феномен Чигрина – не только горизонталь (охват), но и вертикаль (колодец времен). Он любит древность земли. Он свободно гуляет по мертвым, желто-костяным, продутым горячими пустынными ветрами древним городам, пьющим соленую, как слезы любви, воду сапфировых морей забытой Ойкумены. И не только по городам: он гуляет по древним водопадам, древним палимпсестам, древним поцелуям и объятиям, что застыли загадочными иероглифами на зыбучем, сыпучем нереальном песке. Звездная отмель! Это родина Чигрина, место, где он отдыхает, набирается сил.

А звездный песок, пересыпаемый ночным небом из ладони в ладонь, –   
это и есть любовь; и мы с замиранием сердца обнаруживаем в драгоценной россыпи стихов Чигрина-лирика, Чигрина – почти античного возлюбленного, живущего в любви, во имя любви и для любви:

Всё сильнее размах Адриатики, бьющей хвостом

Переливчатой рыбы – стихами колеблется море...

Я живу между смертью и солнечным нежным огнём,

Где смятенье стиха и греха неизменно в повторе

Ожиданья тебя в колокольной деревне Пераст,

Непонятная жизнь перемешана с музыкой лета,

Побледневшей волной этот мир повернулся анфас

И смеётся зверьком в окруженье прозрачного света.

Это море опять я вышёптывал, чтобы шептать

Твои плечи и звук амфибрахия, дактиля, ямба

В почерневшую быстро от буковок верных тетрадь,

Понимая любовь как весёлое лёгкое пламя.

И, как праздник, вода Адриатики пела вокруг,

И барочная скрипка откуда-то слева звучала,

Забирая в себя, вынимая изысканный звук,

И бемольного света и в паузах было немало...

И глаза голубых гребешков голубели в воде –

Говорили тебя, все моллюски тебя говорили,

Этот бухтовый свет возникал и стелился везде,

И задабривал жизнь, и подбадривал водные мили.

Этот праздник воды говорил на моём языке,

Растекался строфой и чернел в черногорской тетради,

И глаза голубых гребешков голубели в строке,

И барочная нежность стояла на скрипках Амати...

Поэт видит древний мир, вечно-каменный – и вечно плещущий, теплый и текучий, водяной, подводный. Давно затонувшие Атлантиды –   
не холодные музейные памятники, а его бесчисленные жаркие отечества. Небо для поэта – тоже море, вечная текучая то синяя, то мрачно-серая река, она несет эпические воды, качая таинственную лирическую лодку, от младенческой вечности до морщинистой смерти.

**3**

Чигрин – поэт, смело обнимающий мыслью реальное и ирреальное. И это так прекрасно и странно! Мы слишком привыкли к тому, что поэт обрисовывает, живописует натуру. А если не натура – тогда что это?.. о, это опасно, это зыбко и тревожно, не ходите туда, во тьму приснившихся веков!.. не вспоминайте сбитых во имя лучезарной свободы оков... Чигрин сбивает кандалы реализма для того, чтобы за руку ввести нас в над-реализм и под-реализм, в вокруг-реализм, в за-предел-реализм – с замиранием сердца входя в чигринскую поэтику, вы чувствуете себя тем самым легендарным средневековым монахом, что храбро высунул голову из очерченного окоема, из земной Ойкумены, из небесного Эмпиреева кольца, Жилища блаженных, чтобы глянуть: а что же там дальше, вдалеке?.. – и, о ужас, о чистая радость, обнаружил там невероятие кучно, скопом мерцающих иных звезд, инаких дивных миров, инших безумных светил, – о неизреченный восторг!

Этот восторг и есть чигринский стих. Этот стих безмерно любопытен, как живой зверек, и запределен, как недосягаемые Плеяды над морским горизонтом. Он часто одет в суровую, почти средневековую монашью рясу, но его сиротскую тонзуру осыпает великолепие таких ярко пылающих звезд, что ослепнуть недолго.

...В четвёртый раз у Северных Ворот

Маяк захвачен действием небесным,

Приговорён буксирный пароход

Бессмертием? – безмолвием воскресным.

В четвёртый раз шарманку крутит снег,

Расплещем жизнь в слабеющее небо,

Я слышу твой с изюминкою смех

У маяка, смотрящего налево.

Ключевые слова здесь – «небесным», «небо». Уходящая в небо с земли сила художества, воля стиха... приходящая с небес на землю опять, ибо человеку свойственная страсть возврата, жажда воскрешенья...

А вот такую первобытную яркость не всякий глаз и не всякое сердце, привыкшее к школьной скромности и пуританскому приличию, выдержит:

Этот край хунхуз называл Да-джеу,

Находили золото дикари.

Дулось в дудку... Думалось – захирею

В комарином мороке... Корабли

Сновиденьями оживали. Якорь

Поднимал трёхмачтовый... Помню, что

На прощанье мне говорил оракул,

Возникая в воздухе как никто...

Разливалась Лангери песней рыбы,

И шаман над травами ворожил.

И такие тут сочинялись клипы,

Ну не клипы, а – фантастичный мир.

Этот мир легко долетал до сопок

И стекал в сгущённую синеву,

И плескался допинг под массой пробок,

И качалась музыка наяву,

Уплывая лодками на закате,

Растекаясь волнами по всему

Океану-морю, который в хладе

Принимал с небес золотую тьму,

От которой шаг... и ещё на стопку

То ли смеха пьяного, то ли что...

Да косится тень, закрывает сопку,

Как кулисы быстрое шапито...

Дальний Восток здесь волшебен и вечен, колоритный сновидческий, музыкальный вихрь, он пребывает вне времени, его вещных, артефактовых примет; впрочем, таково любое подлинное искусство – опираясь на собственное время, оно не приемлет костыли конкретики, намертво привязанной к событийности. События в мире Чигрина живут и движутся по своим законам; он – владыка многозвездного Космоса культуры, властно и доверительно говорящий с его подданными на своем собственном языке.

**4**

Метафора у Чигрина крепко сцепляет музыку и смыслы. Он ее любит –   
именно настолько, чтобы она верой и правдой служила ему, клала ему собакой голову на колени и не выходила из-под его власти. Чигрин сшивает то суровым, то остро-сверкающим стихом, как старинной сапожной иглой, камни приморской крепости и свет луны, зеркально горящий сугроб и зыбучие пески, халдейское, вавилонское Семизвездье и огромный бешеный костер, в коем сгорают неведомые века...

К Чигрину более, чем к кому бы то ни было, применимо это универсальное поименование «художник» – оттого, что он и правда владеет живописной ипостасью слова виртуозно и свободно. Мы опять о свободе, о ее легкости, а ведь Чигрин бывает и тяжел, его вербальная материя, его слова вдруг начинают много весить, казнящими гирями кладя на чаши временны́х весов и образ, и ритмику, и сюжетные намеки, и красоту аллитераций и разнообразных тропов; и эта библейская плотность и грозная тяжесть преодолевается лишь ртутно-текучим и неожиданно вспыхивающим – молнией в ночи – абсолютом поэтова чувства. Мысль в поэзии одно, а чувство – совсем другое! Искусство – это чувство, древняя эта формула верна, и это Чигрин превосходно понимает, уходя от молитвы, философии и медитации в сторону безумств и перламутровых тайн любви:

Красный дракон и зелёные змеи любви –

Это я видел, когда попадал в твоё пламя...

Хочешь – гадай по иероглифам, хочешь – язви,

Как научила тебя азиатская мама?

Девушка в ярко-зелёном, как чай в чайхане,

С музыкой из Поднебесной – январское диво

В твёрдой Москве, в изумрудном и синем огне

Бьющих реклам... На закуску тайваньская слива

И карамбола экзотикой тает во рту.

Сколько любви вырастает в округе Тайбэя?

В белой постели не спутать твою наготу:

Делала нежно, и делала нечто, смелея...

Я бы поплыл за тобой по реке Сюгулан

Мимо бамбука, тайваньской сосны, эвкалипта,

Выпей, подруга, проклятый московский обман:

Линия счастья – от эроса до недосыпа.

Остров Тайвань обнимаю не раз и не два:

*Тай* или *вань* я твоими глазами увижу?

Где-то к рассвету густеет в предгорьях трава,

Солнце ласкает какую-то ветхую крышу...

Он свободно месит тесто мифа. Он свободно перемещается в дебрях мистики. Нереальное ему реальней, чем любая, в зубах навязшая трехмерность. И здесь его стихи внезапно предстают одной гигантской, как падающая на нас с небес чужая галактика, сияющей мифологемой –   
единой образной системой, которая тщится запечатлеть все сущее в формате одной-единственной поэтики, и у нее это получается! Чигрин мистик не меньший, чем Гоголь, и символист не слабейший, чем Владимир Соловьев, но его неистребимая живописность, его пьянящий импрессионизм спасает его от опасного углубления в шахты потусторонних миров. А одиночество – всякий поэт всегда и подлинно одинок –   
немало располагает к тому:

Случилось что? – какой-то сложный звук?

В тарелке хлеб и красным телом рыба.

Всё больше заморочен бредом слух

В тональности Борея, без просыпа

Свистящего заботливо в ушах

Пугающих задворок и проездов...

Другим бы стать в рифмованных словах

Под музыку таинственных оркестров,

Которые приносят волшебство...

Два призрака прилипли к антресоли,

Стоит декабрь в потрёпанном пальто,

Луна в суставах ощущает боли,

Которые бы морфием... Зачем

Так мало жить?.. Обещано – ненастье

И Новый год, и старый Вифлеем,

И плюшевое заячье *ушастье*.

Тоска и тяга, то, что немцы зовут Sehnsucht, стремление и к живому человеку, и к несбыточной мечте, до боли знакома поэту; он, как все поэты от сотворения мира, любит, теряет, тоскует, стремится, влечется, стонет, умирает от страсти. И под пологом этой страсти – дымящиеся временем степи и вбитые в черную сферу звезды-гвозди, воспоминания, переходящие в живое дыхание и в больное задыханье, и та дородовая красная боль, из которой и лепится наша плоть, что все уходит из мира и всякий раз не может всецело уйти. Потусторонний мир рядом. Рядом предсказанные сроки, молча стоящий Мойры, прядущие вечную шерсть вечно гибнущих минут...

В продрогшем небе ангелы и свет,

И сновиденья вовсе не по Фрейду

Сливаются в предпраздничный сюжет,

И дышат ветры в глиняную флейту.

Мне в тему стужа. Занесённый порт

Моих наитий – Павшинская пойма,

Плывущий в небо чёрных литер флот,

Смотрящая в мои поэмы мойра.

Я здесь живу. Узорный небосвод

Подсвечиваю яркими словами.

В который раз я замечаю – лёд

Становится трудней под башмаками.

Белеет мост. И – зеленеет мгла:

Глазами предсказаний смотрят ёлки.

Идут шары, петарды на ура! –

Молчат в кустах рождественские волки.

Волк, древнейший, добиблейский зверь, появляется в конце стихотворения недаром; по преданию, это личный зверь праматери Лилит (не Евы!) – археологи находят фигурки Лилит, стоящей именно рядом с волком и запускающей руки в шерсть его загривка. Волк, древнейший символ смерти-жизни: он загрызает, но он же и рождает, давая охотнику и его детям в лютые морозы тепло своих шкур. Волчица, что выкормила Ромула и Рема, из этой же оперы. А вот волков Рождества, молчаливо сидящих в оснеженных кустах, увидел только Чигрин; что они сторожат? В чьи ясли засунут хищные морды – приветствовать Бога Рожденного? А может, это просто уже смирное зверье, будущие собаки, слуги и друзья человека, забавные елочные игрушки?..

**5**

Зверь и человек, Бог и диавол, клятва и преступление, роды и гибель, огонь и лед, время и смерть – Чигрин работает с архетипами: так, как я люблю. И как любили работать многие художники до Чигрина.   
И как будут работать после. Но в чем загвоздка? Чигрин – он один такой. Трудно вместить его в одно безусловное понимание, в один томящий и томящийся звук. Он полифоничен. Он многослоен. Он...

Да! опять о многослойности. В том числе и о многослойности, многонаселенности биоса, живой планеты – не мифологической, а самой что ни на есть настоящей, той, на которой живем. Птицы и рыбы, скоты и раки – они тоже выходцы из древности земли, они – каждый – живой знак, и все живые письмена складываются в новый, завтрашний завет, который только стихом и передать. Предметность у Чигрина запросто переслаивается духовностью, приметы времени –   
неизбывной символикой, ангелы в предпраздничной толпе смешиваются с людьми, и поэт – вечный придумщик, визионер, фантазер –   
в который раз нафантазирует себе любовь, разговор с Богом, иное бытие, иную жизнь:

Верченье вьюги, вспышки фонарей,

И вот уже неровное дыханье

Автомобилей, призраков, людей,

Глядящего в слепое мирозданье

И пьющего последний кофе дня

Не ангела, но – знающего небо

И ждущего тепла, любви, огня,

Как будто из библейского вертепа.

Что видится в слепящем декабре? –

Проходит жизнь в который раз по кругу,

Мои стихи в двухкомнатной норе

Протягивают руки снова к Югу,

Который – добрый вор моих затей:

Другая кровь, дуэты пальм и солнца.

Гремит посудой по утрам халдей,

Контрабандист под музыку смеётся...

И яхта яхте говорит слова

На сленге моря, море курит трубки,

А в облаках наличье Божества –

Небесный Царь рулит в небесной рубке...

Я выдумаю в снегодекабре

Похожую на яркий праздник деву,

Чтоб жизнь другую вылепить во мгле,

Поддавшись сочинительству и блефу.

И с нею выйду за какой-то круг:

Мы попадём в ресничный праздник света,

Вплетая Север в золотистый Юг,

Включая жизнь в нефритовое лето.

Тысячи, десятки тысяч слов – материал поэта. У Чигрина почти шекспировский словарь. Его тезаурус – настоящее чудо из чудес, и иной читатель, утопая в сокровищах чигринских вербальных сундуков, не может выбраться оттуда на волю привычного и простого, зовет на помощь, задыхается. Ему не плыть без посторонней в этом драгоценном, малахитовом Саргассовом море. Ему надо греться на другом понятийном песочке. А Живая Планета чигринской поэтики – почти лемовский Океан – живет, пульсирует и дышит. Нет ей закона. Ибо она – живая.

Живая, трепещущая даже там, где в ночной тьме тебя, живущего на любимой земле, подстерегает смерть:

...Он впитывает темень, как сюжет:

Огромный шар, в котором скорпионы,

Клубок из чудищ недоступных недр,

И – ряд второй – когтистые грифоны.

Он долго смотрит... становясь другим,

Нанизывая глюки полнолунья,

И будто кто-то говорит над ним –

Смеётся в чёрном тощая колдунья?

Морана в тёмном, бабушка с клюкой?

Он шепчет заклинания, и монстры

Бегут в Полтаву быстрою рекой

К приспешникам уездной коза ностры.

И – остаются мальчик и старик

В одном флаконе, правильнее – в теле,

В котором жизнь смертельнее, чем стих,

В котором смерть привычнее свирели.

Смерть и свирель: слишком смело! Но только так и спеть о них: ведь смерть, которую боятся все, и даже истинно верующие, – музыка иной жизни. И чем сильнее мы чуем смерти приход, тем горячее и безусловнее мы любим жизнь.

Живое. Вот святое. Вот подсознательная молитва – между строк – чигринских стихов; вот залог людского внимания к его искусству.

Художник, даже самый странный и нерасшифрованный, вечен, потому и востребован. Незримые крылья поэзии Евгения Чигрина – это и крылья дельтаплана над лесами Суматры, и крылья сумасшедшего экваториального махаона, ангела джунглей, и крылья смешной колибри, сверкающей алым кораллом, и прозрачные сетчатые крылья южной стрекозы, Одетты-Одилии; это крылья, что, бормоча, чертил безумный Циолковский в расхристанной космической тетрадке; это Леонардовы крылья, чертежи будущего, это натянутая на сочлененьях палок телячья кожа – с этими, привязанными к дрожащим рукам, крыльями прыгал с церковной колокольни бедный крестьянский сын, поверивший в синеву небесную, не только в Господа Бога... Вот оно – связать собою всё и вся! «Все во мне, и я во всем» – разве это не завет русской поэзии, разве не прав Федор Тютчев?

Таков Евгений Чигрин. На полдороге, на обрыве он оставляет нас, чтобы одиноким странником уйти в любимые просторы, в обожаемую туманную ночную мглу:

...И маяку сложить стихотворенье

О маяке, сигналящем во мгле:

Схватить на дактиль чудное мгновенье –

Свет корабля, как память о земле,

Которую оставил по причине,

До йоты непонятной самому...

Стать зверем? Птицей? В сумрачной картине

Словариком, сверкающим во тьму? –

Хореем маяка, спондеем мыса,

Отшельником, пропавшим навсегда?

Не ждущего с авиапочтой письма,

Забившего вчера на города...

Художник живет. Он глубоко вдыхает земной воздух. Он знает, «где стерегут нас Ад и Рай» (А. Блок).